

Стивен Кинг

1922



Часть сборника
Тьма, – и больше ничего
(сборник)



Стивен Кинг

1922

«Автор»

«АСТ»

2010

Кинг С.

1922 / С. Кинг — «Автор», «АСТ», 2010

ISBN 978-5-271-40835-9

«Меня зовут Уилфред Лиланд Джеймс, и это мое признание. В июне 1922 года я убил свою жену, Арлетт Кристину Уинтерс Джеймс, и спрятал тело, сбросив в старый колодец. Мой сын, Генри Фриман Джеймс, содействовал мне в этом преступлении, впрочем, в четырнадцать лет он не нес за это ответственности. Я уговорил его, сыграв на детских страхах, за два месяца найдя убедительные аргументы для всех его вполне естественных возражений. Об этом я сожалею даже больше, чем о самом преступлении, по причинам, которые будут изложены в этом документе...»

ISBN 978-5-271-40835-9

© Кинг С., 2010

© Автор, 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

25

Стивен Кинг

1922 год

1

11 апреля 1930 года

Отель «Магнолия»

Омаха, штат Небраска

Всем заинтересованным лицам

Меня зовут Уилфред Лиланд Джеймс, и это мое признание. В июне 1922 года я убил свою жену, Арлетт Кристину Уинтерс Джеймс, и спрятал тело, сбросив в старый колодец. Мой сын, Генри Фриман Джеймс, содействовал мне в этом преступлении, впрочем, в четырнадцать лет он не нес за это ответственности. Я уговорил его, сыграв на детских страхах, за два месяца найдя убедительные аргументы для всех его вполне естественных возражений. Об этом я сожалею даже больше, чем о самом преступлении, по причинам, которые будут изложены в этом документе.

Поводом к убийству и осуждению на вечные муки моей души послужили сто акров хорошей земли в Хемингфорд-Хоуме, штат Небраска. Их завещал моей жене ее отец, Джон Генри Уинтерс. Я хотел добавить эту землю к нашей ферме, которая в 1922 году занимала восемьдесят акров. Моя жена – ей никогда не нравилась деревенская жизнь (да и быть женой фермера совершенно не хотелось) – собралась продать эти угодья «Фаррингтон компани» за наличные. Когда я спросил, хочет ли она жить с подветренной стороны свинобойни этой компании, она ответила, что мы можем продать хозяйство точно так же, как и акры ее отца, имея в виду ферму моего отца и моего деда. Когда я спросил ее, что мы будем делать с деньгами, но без земли, она ответила, что можем переехать в Омаху, даже в Сент-Луис, и открыть магазин.

– Никогда не буду жить в Омахе, – заявил я. – Большие города – для дураков.

Вот уж ирония судьбы, если учесть то, где я сейчас живу, но долго я здесь не останусь. Я знаю это точно так же, как знаю, что за звуки доносятся со стороны стен. И я знаю, куда попаду после того, как закончится моя земная жизнь. Задаюсь вопросом, окажется ли ад намного хуже Омахи. Возможно, это та же Омаха, только без тучных полей, которые окружают город со всех сторон. Лишь дымящаяся, воняющая серой пустошь, где полным-полно потерянных душ, как моя.

Мы яростно спорили с женой об этих ста акрах зимой и весной 1922 года. Генри оказался между двух огней, однако все больше склонялся на мою сторону. Внешне он многое унаследовал от матери, но землю любил не меньше меня. Этому послушному мальчику не передалась наглость его матери. Снова и снова он говорил ей, что не хочет жить ни в Омахе, ни в любом другом большом городе и уедет отсюда, если только она и я договоримся, а такого просто быть не могло.

Я подумывал над тем, чтобы обратиться к закону, уверенный, что любой суд этой страны подтвердит мое право – право мужа, – как и для чего использовать землю. Однако что-то меня удерживало. Не страх перед соседскими пересудами, плевать я хотел на деревенские сплетни, а что-то еще. Я начал ее ненавидеть, начал желать ей смерти, и именно это удерживало меня.

Я верю, что в каждом живет кто-то другой. Коварный Человек, незнакомец. И я уверен, что к марту 1922 года, когда небо над округом Хемингфорд затягивали облака, а поля превратились в грязное месиво, местами тронутое снегом, Коварный Человек, живущий в фермере

¹ 1922 © 2011. В.А. Вебер. Перевод с английского.

Уилфреду Джеймсе, уже вынес приговор моей жене и определился с ее судьбой. Это тоже правосудие, пусть оно и отличается от того, что вершат люди в черных мантиях. В Библии сказано, что неблагодарный ребенок – змеиный зуб, но вечно недовольная и неблагодарная жена острее этого зуба.

Я не чудовище. Я пытался спасти ее от Коварного Человека. Повторял ей: если мы не договоримся, поезжай к своей матери в Линкольн, в шестидесяти милях к западу. Подходящее расстояние, когда хочешь жить отдельно, еще не в разводе, но когда в сосуде семейной жизни уже появились трещины.

– И оставить тебе землю моего отца, как я понимаю? – спрашивала она, вскидывая голову.

Как же я стал ненавидеть это дерзкое движение, свойственное плохо выдрессированным пони, и фыркание, его сопровождавшее.

– Этому не бывать, Уилф.

Я говорил ей, что выкуплю у нее землю, если она на этом настаивает. Не сразу, конечно, лет за восемь, может, за десять, но выплачу все, до последнего цента.

– Это хуже, чем ничего, – отвечала она (с фырканием и вскидыванием головы). – Каждая женщина это знает. «Фаррингтон компани» заплатит все и сразу, а их последнее предложение будет гораздо более выгодным, чем твое. Опять же, я никогда не буду жить в Линкольне. Это не большой город, а та же деревня, где церковью больше, чем домов.

Видите, в какой я попал переplet? Понимаете, в каком оказался положении? Могу я рассчитывать хоть на толику вашего сочувствия? Нет? Тогда слушайте дальше.

Как-то ранним апрелем – это было практически восемью годами ранее – она пришла ко мне счастливая и сияющая. Чуть ли не целый день провела в салоне красоты в Маккуке, и ее волосы теперь обрамляли щеки пышными локонами, напоминавшими туалетную бумагу – такую видишь в гостиницах и ресторанах. Она сказала, что у нее появилась идея. Заключалась идея в том, что мы продаем «Фаррингтону» сто акров и ферму. Жена не сомневалась (и, наверное, была в этом права), что компания купит оба участка, потому что им очень уж хотелось приобрести землю ее отца, расположенную рядом с железной дорогой.

– А потом, – говорила эта наглая дьяволица, – мы разделим деньги, разведемся и каждый из нас начнет новую жизнь, никак не связанную с другим. Мы оба знаем, что ты хочешь именно этого.

Как будто она сама не хотела.

– Ага, – ответил я после паузы (словно серьезно обдумал ее идею), – и с кем из нас останется мальчик?

– Со мной, естественно. – Ее глаза широко раскрылись. – Четырнадцатилетний мальчик должен оставаться с матерью.

В тот самый день я начал «обрабатывать» Генри, поделившись с ним последним планом его матери. Мы сидели на сеновале. Я соорудил самое скорбное лицо и заговорил самым скорбным голосом, рисуя картину, какой будет его жизнь, если матери удастся реализовать этот план: он лишится отца и фермы, учиться его определят в огромную школу, все его друзья (большинство – с младенчества) останутся здесь, а в городе ему придется бороться за место под солнцем, и все будут смеяться над ним и называть мужланом и деревенщиной. С другой стороны, говорил я, если мы сможем сохранить все эти акры, то расплатимся – и я в это верил – с банком к 1925 году, а потом заживем без долгов, полной грудью вдыхая чистый воздух, вместо того чтобы с восхода до заката солнца наблюдать, как по нашей речке плывут свиные потроха. «Так чего ты хочешь?» – спросил я сына, нарисовав эту картину в мельчайших подробностях, которые только мог придумать.

– Остаться с тобой, папка, – ответил он. Слезы катились по его щекам. – Почему она оказалась такой... такой...

– Продолжай, – поощрил его я. – Правда – не ругательство, сын.

– *Такой сукой!*

– Потому что таковы в большинстве своем женщины, – объяснил я. – И этого в них не искоренить. Вопрос в том, что нам с этим делать.

Но Коварный Человек, который жил во мне, уже подумал о старом колодце за амбаром, из которого мы поили только животных. Он был мелким, глубиной футов двадцать, и с мутной водой. Требовалось лишь привлечь к этому сына. И другого выхода у меня не было, вы понимаете. Я мог убить жену, но должен был спасти своего любимого мальчика. Кому нужны сто восемьдесят акров – или тысяча, – если нет возможности разделить их с сыном, а потом ему и передать?

Я сделал вид, что серьезно обдумываю безумный план Арлетт по превращению хорошей пахотной земли в свинобойню. Я попросил ее дать мне время, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Она согласилась. И следующие два месяца я обрабатывал Генри, стремясь, чтобы он свикся совсем с другой мыслью. Задача оказалась не из сложных – в мать он пошел внешнестью (внешность женщины, знаете ли, – это мед, который привлекает мужчин в улей, где полно жалящих пчел), но ее богомерзкого упрямства не унаследовал. Мне и требовалось лишь как можно ярче расписать его будущую жизнь в Омахе или Сент-Луисе. Я упомянул даже о том, что эти два человеческих муравейника могут не устроить ее, и тогда она решит переехать в Чикаго. «А уж там, – предупредил я, – ты будешь ходить в одну школу с ниггерами».

К матери Генри стал относиться с нарастающим холодком, и после нескольких попыток – неловких, отвергнутых – наладить отношения она тоже охладела к нему. Я (точнее, Коварный Человек) этому только радовался. В начале июня я сказал ей, что решил, всесторонне все обдумав, не давать согласия на продажу этих ста акров. Такая сделка обречет нас на нищету и разорит, вот к чему это приведет. Это известие она встретила спокойно. Сказала, что воспользуется услугами адвоката (Закон, как мы все знаем, благосклонно относится к тому, кто платит). Это я предвидел и улыбнулся, потому что она не могла заплатить за консультацию. К тому времени я полностью контролировал небольшую наличность, которой мы располагали. Генри даже отдал мне свою копилку, когда я его об этом попросил, чтобы она не смогла украсть деньги, пусть и жалкую мелочь. Она отправилась, само собой, в офис «Фаррингтон компани» в Диленде, в полной уверенности (и в этом я с ней соглашался), что они, в надежде приобрести желаемое, не возьмут с нее деньги за юридическую консультацию.

– Там ей помогут, и она выиграет дело, – сказал я Генри, когда мы в очередной раз сидели на сеновале, ставшем для нас местом обмена мнениями. Полной уверенности у меня не было, но я уже принял решение, которое пока, правда, еще не называл планом.

– Но, папка, это несправедливо! – воскликнул он. Там, на сене, он казался совсем юным, выглядел лет на десять, а не на четырнадцать.

– Жизнь полна несправедливостей, – ответил я. – Иногда единственное, что с этим можно сделать, – поступить, как считаешь необходимым. Даже если при этом кому-то будет причинен вред. – Я помолчал, изучая его лицо. – Даже если при этом кто-то умрет.

Он побледнел.

– Папка!

– Если она уйдет, ничего не изменится, – ответил я. – Только споры прекратятся. Мы сможем жить здесь в мире и покое. Я предлагал ей все, лишь бы она ушла по-хорошему, но она этого не сделала. И теперь мне остается только одно. *Нам* остается только одно.

– Но я ее люблю!

– Я тоже ее люблю. – И тут – хоть вы мне и не поверите – я не покривил душой. Ненависть, которую я испытывал к ней в 1922 году, сделалась столь велика именно потому, что ее составной частью была любовь. При всей озлобленности и упрямстве Арлетт была горячей женщиной. Наши супружеские отношения никогда не прекращались, хотя после того, как начались

споры из-за этих ста акров, наши объятия в темноте все более напоминали случку животных. – Можно обойтись без боли, – добавил я. – А после того как все закончится... ну...

Мы вышли из амбара, и я показал сыну колодец, оказавшись рядом с которым он разрылся горькими слезами.

– Нет, папка. Только не это. Никогда.

Но когда она вернулась из Диленда (большую часть пути проехала на «форде» Харлана Коттери, нашего ближайшего соседа, так что идти ей пришлось только две мили) и Генри принялся умолять ее оставить все как есть, чтобы мы вновь стали одной семьей, она вышла из себя, врезала ему по зубам и велела прекратить скулить, как собака.

– Твой отец заразил тебя своей робостью. Хуже того – он заразил тебя своей жадностью. Как будто она сама не страдала этим грехом!

– Адвокат заверил меня, что земля моя, я могу делать с ней все, что пожелаю, а я собираюсь ее продать. Что же касается вас обоих, вы можете сидеть здесь и на пару вдыхать запах жарящихся свиней, готовить еду и застилать кровати. Ты, сын мой, можешь пахать весь день, а всю ночь читать его нетленные книги. Ему они пользы не принесли, но, возможно, с тобой будет иначе, кто знает?

– Мама, это несправедливо!

Она посмотрела на своего сына, как женщина иногда смотрит на незнакомца, который позволил себе прикоснуться к ее руке. И как же я возрадовался, увидев, что Генри так же холодно смотрит на нее...

– Катитесь к дьяволу, вы оба! Что до меня, так я уеду в Омаху и открою галантерейный магазин. Я так понимаю справедливость.

Разговор этот происходил во дворе, между амбаром и домом, и фраза о справедливости завершила спор. Она пересекла двор, поднимая пыль элегантными городскими туфлями, вошла в дом и захлопнула за собой дверь. Генри повернулся ко мне – в уголке рта блеснула кровь, нижняя губа начала раздуваться. Глаза его горели обжигающей яростью, той яростью, ощущать которую способны только юные. Яростью, которая не останавливается ни перед чем. Он кивнул. Я кивнул в ответ, так же сдержанно, но в душе моей ликовал Коварный Человек.

Этот удар в зубы стал ее смертным приговором.

Двумя днями позже, когда Генри работал со мной на кукурузном поле, я увидел, что он снова дал слабину. Меня это не испугало и не удивило. Между юностью и взрослостью лежат годы смятения: тех, кто их переживает, бросает из стороны в сторону, вертит, как флюгер; фермеры на Среднем Западе ставят такие шутовские на башнях элеваторов.

– Мы не можем, – сказал Генри. – Папка, она заблуждается. И Шеннон говорит, что тот, кто умирает, заблуждаясь, отправляется в ад.

«Черт бы побрал методистскую церковь и общество молодых методистов», – подумал я... но Коварный Человек только улыбался. Следующие десять минут мы обсуждали вопросы теологии посреди зеленых кукурузных побегов, тогда как облака раннего лета – самые красивые облака, похожие на небесные шхуны, – медленно проплывали над нами, таща за собой тени. Я объяснил сыну, что все будет с точностью до наоборот: Арлетт мы отправим не в ад, а в рай.

– Потому что для убитых мужчины или женщины миг смерти определен не Богом, а человеком. Его... или ее... изгоняют из этого мира до того, как он... или она... успевает искупить свои грехи, поэтому всех их Бог прощает. Когда смотришь на это под таким углом зрения, получается, что каждый убийца открывает кому-то ворота в рай.

– А как же мы, папка? Мы не отправимся в ад?

Я обвел рукой поля, на которых зеленела кукуруза.

– Как ты можешь так говорить, когда видишь, какой вокруг рай? И тем не менее она собирается выгнать нас отсюда с той же решимостью, с какой ангел с огненным мечом выгнал Адама и Еву из Эдема.

Сын смотрел на меня. В тревоге. Мрачный. Меня печалило, что я отравляю его душу такими словами, но в глубине души верил тогда и верю теперь, что это ее вина, а не моя.

– И подумай, – продолжил я, – если она поедет в Омаху, то в аду ей выроют более глубокую яму. Если она заберет тебя с собой, ты станешь городским мальчиком...

– Никогда не стану! – прокричал он так громко, что вороны поднялись с изгороди и улетели в синее небо, словно клочки покрытой сажей бумаги.

– Ты молодой, станешь, – гнул свое я. – Забудешь все это... привыкнешь к городу... и начнешь рыть собственную яму.

Если бы он на это сказал, что убийцам никогда не воссоединиться со своими жертвами в раю, то поставил бы меня в тупик. Но то ли его теологические познания не отличались такой глубиной, то ли он не хотел об этом задумываться. И вообще, существует ли ад или мы сами создаем его для себя на земле? Оглядываясь на восемь последних лет моей жизни, я склоняюсь ко второму варианту.

– Как? – спросил он. – Когда?

Я ему ответил.

– А потом мы сможем и дальше жить здесь?

Я заверил его, что сможем.

– А больно ей не будет?

– Нет. Раз – и все.

Его это устроило. Однако ничего подобного не произошло бы, если бы Арлетт не спровоцировала все сама.

Мы решили поставить точку субботним вечером где-то в середине июня, который, насколько я помню, выдался таким же солнечным и теплым, как и в любой другой год. Летними вечерами Арлетт иногда выпивала стакан вина, но никак не больше. На то была причина: она относилась к тем людям, которые не могут выпить два стакана вина, чтобы потом не выпить четыре, шесть, целую бутылку. И еще одну, и еще. «Мне приходится быть очень осторожной, Уилф. Очень я люблю это дело. К счастью, у меня сильная воля».

В тот вечер мы сидели на крыльце, наблюдая, как последний дневной свет уходит с полей, и слушая убаюкивающее стрекотание цикад. Генри ушел в свою комнату. Он едва прикоснулся к ужину, и когда мы с Арлетт сидели на крыльце в одинаковых креслах-качалках, с вышитыми буквами «МА» и «ПА» на подушках сиденья, я вроде бы услышал, что где-то кого-то рвет, и подумал, что в решающий момент сын может сдрейфить, а его мать утром проснется в отвратительном настроении из-за похмелья, не зная, насколько близко подошла к тому, чтобы больше никогда не увидеть восход солнца в Небраске. И все же я решил продолжить реализацию плана. Почему? Потому что ничем не отличался от русской матрешки? Возможно. Возможно, все люди такие. Во мне жил Коварный Человек, а в нем – Надеющийся. Этот тип умер где-то между 1922 и 1930 годами. А Коварный Человек, сыграв свою роль, исчез сразу же. Без его планов и честолюбивых устремлений жизнь обратилась в пустоту.

Итак, я принес на крыльцо бутылку вина, но она накрыла рукой свой пустой стакан, когда я попытался его наполнить.

– Тебе незачем подпаивать меня, чтобы получить то, чего ты хочешь. Я тоже этого хочу. У меня все зудит. – Она развела ноги и сунула руку в промежность, чтобы показать, где у нее зудит. Внутри ее жила Вульгарная Женщина, – может, даже Шлюха, – и вино всегда на нее так действовало.

– Все равно выпей еще стакан, – настаивал я. – Нам есть что отпраздновать.

Она с опаской посмотрела на меня. Даже после единственного стакана вина ее глаза увлажнились (словно она оплакивала все то вино, которое хотела выпить, но не могла) и в закатном свете стали оранжевыми, как глаза фонаря-тыквы с горящей внутри свечой на Хэл-лоуин.

– Судебного иска не будет, – продолжил я, – и развода тоже. Если «Фаррингтон компани» сможет заплатить за мои восемьдесят акров так же щедро, как и за твои сто, наш спор окончен.

И тут, впервые за всю нашу семейную жизнь, у нее в прямом смысле *отвисла челюсть*.

– Что ты сказал? Я не ослышалась? Не вздумай душить мне голову, Уилф!

– Я не дую, – ответил Коварный Человек с убеждающей искренностью. – Мы с Генри много говорили об этом...

– Вы действительно постоянно шептались, это правда. – Она отняла руку от стакана, и я воспользовался представившейся возможностью. – Сидели то на сеновале, то около поленницы, то на дальнем поле, всегда голова к голове. Я думала, речь у вас шла о Шеннон Коттери. – Фыркание и вскидывание головы. Но мне показалось, что ей немного взгрустнулось. Она пригубила второй стакан. Два маленьких глотка – и она еще могла поставить его на столик и пойти спать. Четыре – и я мог снова протянуть ей бутылку. Не говоря уж о двух других, которые стояли наготове.

– Нет, – ответил я, – речь шла не о Шеннон. – Вообще-то я однажды видел, как Генри держал ее за руку, когда они шли в школу Хемингфорд-Хоума, от которой наш дом отделяли две мили. – Мы говорили об Омахе. Пожалуй, он готов переехать туда. – Я старался не перегибать палку после одного целого стакана вина и двух глотков из второго. Мою Арлетт отличала подозрительность, она всегда пыталась докопаться до истины. И разумеется, в данном случае ее раскопки наверняка дали бы результат. – Во всяком случае, он готов попытаться. Омаха не так уж и далеко от Хемингфорд-Хоума...

– Да, недалеко. Я тысячу раз повторяла это вам обоим. – Еще глоточек, и на этот раз стакан на стол она не поставила. Оранжевый свет на западе, постепенно переходящий в зеленолиловый, казалось, горел в ее стакане.

– Если бы речь шла о Сент-Луисе, тогда совсем другое дело.

– Я отказалась от этой идеи, – ответила она. Это, естественно, означало, что она уже прикинула такой вариант и поняла, что это будет очень проблематично. И все, конечно же, за моей спиной. Все за моей спиной, за исключением визита к юристу компании, и это она сделала бы без моего ведома, если бы не желание использовать его как дубинку, которой она могла бы меня колотить.

– Компания возьмет все целиком, как думаешь? – спросил я. – Все сто восемьдесят акров?

– Откуда мне знать? – Еще глоток. Второй стакан наполовину опустел. Если бы я сейчас сказал, что она выпила достаточно, и попытался отобрать у нее стакан, она бы его мне не отдала.

– Ты знаешь, я не сомневаюсь. Ты думала о ста восьмидесяти акрах, как думала о Сент-Луисе. Ты *наводила справки*.

Она искоса посмотрела на меня, изучающе так посмотрела, потом хрипло рассмеялась:

– Может, и наводила.

– Наверное, мы сможем найти дом на окраине, – предположил я. – Чтобы видеть поле или два.

– И ты будешь там целыми днями просиживать зад в кресле-качалке на крыльце, отправив жену на работу? На-ка, наполни его. Если уж мы празднуем, так давай праздновать.

Я наполнил оба стакана. В свой только чуть-чуть добавил, потому что отпил всего глоток.

– Я подумал, что смог бы работать механиком. Ремонтировать легковые автомобили и пикапы, но в основном сельскохозяйственную технику. Если уж я поддерживаю в рабочем

состоянии наш старый «фармол», – я указал стаканом на темный силуэт трактора, стоявшего рядом с амбаром, – то, пожалуй, сумею починить все, что угодно.

– И Генри тебя уговорил...

– Он убедил меня, что лучше попытаться жить счастливо в городе, чем остаться здесь одному. Это мне радости точно не принесет.

– Мальчик демонстрирует здравомыслие, а мужчина слушает! Наконец-то! Аллилуйя! – Она осушила стакан и протянула мне, чтобы я его вновь наполнил. Схватила меня за руку, наклонилась достаточно близко, чтобы я ощутил запах кислого винограда в ее дыхании. – Этим вечером ты, возможно, получишь то, что тебе нравится, Уилф. – Она коснулась языком – в пурпурных пятнах – верхней губы. – То, что считается непристойным.

– Буду ждать с нетерпением, – ответил я. Если бы все вышло, как мне хотелось, в кровати, которую мы делили пятнадцать лет, произошло бы нечто куда более непристойное.

– Давай позовем сюда Генри. – Она уже начала растягивать слова. – Я хочу поздравить его с тем, что ему наконец-то открылась истина. (Я уже упоминал, что глагол «благодарить» не входил в лексикон моей жены? Наверное, нет. Возможно, теперь это уже и незачем.) Ее глаза вспыхнули, потому что ее осенила новая мысль. – Мы нальем ему стакан вина! Он уже достаточно взрослый! – Она ткнула меня локтем, как делают старики, которые сидят на скамейках по обеим сторонам лестницы здания суда, рассказывая друг другу похабные анекдоты. – Если мы сможем чуть развязать ему язык, то, возможно, выясним, не проводил ли он время с Шеннон Коттери... Маленькая шлюшка, но волосы у нее красивые, это точно.

– Сначала выпей еще стакан, – предложил Коварный Человек.

Арлетт выпила два, и бутылка опустела (первая бутылка). К тому времени она уже пела «Авалон»² голосом менестреля и закатывала глаза, как менестрель. Смотреть было противно, слушать – еще противнее.

Я пошел на кухню за второй бутылкой вина и решил, что самое время позвать Генри. Хотя, как и говорил, особых надежд не питал. Это можно было сделать лишь при условии, что сын согласится помочь, а я сердцем чувствовал, что он даст задний ход, когда от разговоров придется действительно переходить к делу. При таком раскладе мы бы просто уложили ее в постель, а утром я бы сказал ей, что передумал насчет продажи земли моего отца.

Генри пришел, и его бледное, несчастное лицо однозначно позволило мне заключить, что об успешной реализации плана лучше забыть.

– Папка, я думаю, что не смогу, – прошептал он. – Это же *мама*.

– Не сможешь, так не сможешь. – И это говорил я, а не Коварный Человек. Я смирился: будь что будет. – В любом случае она счастлива впервые за последние месяцы. Пьяна, но счастлива.

– Не просто навеселе? Она напилась?

– Не удивляйся. Для счастья ей нужно только одно: чтобы все было, как она хочет. Ты провел рядом с ней четырнадцать лет, но так ничего и не понял.

Нахмурившись, Генри прислушался к звукам, доносившимся с крыльца, где женщина, которая дала ему жизнь четырнадцатью годами раньше, запела – не так чтобы мелодично, но не пропуская ни слова – «Грязного Макги». Генри хмурился, слушая эту разухабистую, непристойную песню, возможно, его коробил припев («Она хотела помочь ему вставить / Ей нравился грязный Макги»), а может, раздражало, что она, напившись, растягивала слова. Годом раньше, в День труда, на собрании общества молодых методистов сын дал слово воздерживаться от употребления спиртных напитков. Шок, который он испытывал, у меня, конечно, вызывал смех. Пока подростков не начинает мотать, как флюгер при порывистом ветре, они очень похожи на несгибаемых пуритан.

² «Авалон» – популярная песня, впервые исполненная в 1920 г. Элом Джолсоном. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Она хочет, чтобы ты присоединился к нам и выпил стакан вина.
– Папка, ты же знаешь, я обещал Господу, что никогда не буду пить.
– Это тебе придется улаживать с ней. Она хочет праздника. Мы продаем землю и перебираемся в Омаху.

– *Нет!*

– Что ж... посмотрим. Решать тебе, сын. Пошли на крыльцо.

Арлетт, пошатываясь, поднялась, когда увидела сына. Обхватила его за талию, прижалась к нему, пожалуй, слишком уж плотно и начала покрывать лицо чересчур страстными поцелуями. Дурно пахнущими поцелуями, если судить по тому, как он при этом кривился. Коварный Человек тем временем наполнял ее стакан, который опять опустел.

– Наконец-то мы все вместе! Мои мужчины прозрели! – Она подняла стакан, словно произнося тост, и выплеснула немалую часть вина себе на грудь. Тут же рассмеялась и подмигнула мне: – Будешь хорошо себя вести, Уилф, позже я позволю тебе высосать это вино из материи.

Генри смотрел на нее в замешательстве, на его лице отразилось отвращение, когда она вновь плюхнулась на кресло-качалку, вскинула юбки и зажала их между колен. Арлетт заметила его взгляд и рассмеялась:

– Нечего быть таким ханжой. Я видела тебя с Шеннон Коттери. Маленькая шлюшка, но у нее красивые волосы и аппетитная попка. – Она допила вино и рыгнула. – Если ты ее еще не пощупал, то дурак. Только тебе лучше быть осторожным. В четырнадцать уже можно жениться. У нас в четырнадцать можно жениться даже на кухне. – Она рассмеялась и протянула мне стакан. Я наполнил его из второй бутылки.

– Папка, ей хватит. – Генри говорил осуждающе, как священник. Над нами появились первые звезды и принялись подмигивать, зависнув над бескрайней равниной, которую я любил всю жизнь.

– Ну, не знаю, – ответил я. – «*In vino veritas*»³, – так сказал Плиний Старший... в одной из книг, которые презирует твоя мать.

– Рука на плуге весь день, нос в книге всю ночь, – фыркнула Арлетт. – За исключением того времени, когда он кое-что другое совал в меня.

– *Мама!*

– «*Мама!*»! – передразнила она Генри, потом указала стаканом в сторону фермы Харлана Коттери, которая располагалась слишком далеко, чтобы мы могли видеть огни в окнах. Теперь, когда кукуруза поднялась достаточно высоко, мы не смогли бы их увидеть, даже если бы ферма соседа находилась на милю ближе. Когда в Небраску приходит лето, каждый дом словно превращается в корабль, плывущий в зеленом океане. – За Шеннон Коттери и ее пробивающиеся грудки! И если мой сын не знает цвета ее сосков, тогда он дубина стоеросовая.

Мой сын на это ничего не ответил, но его потемневшее лицо порадовало Коварного Человека.

Арлетт повернулась к Генри, схватила его за руку и плеснула вином ему на запястье. Не обращая внимания на неудовольствие сына, вглядываясь в его лицо с внезапно вспыхнувшей в глазах жестокостью, она продолжила:

– Только уж постарайся ничего в нее не совать, когда ляжешь рядом с ней в кукурузе или за амбаром. – Она сжала пальцы второй руки в кулак, оттопырила средний палец и обвела им промежность Генри: левое бедро, правое бедро, правую сторону живота, пупок, левую сторону живота, вновь левое бедро. – Щупай что хочешь, трись своим Джонни Маком, пока ему не станет хорошо и из него не брызнет, но не лезь в уютное местечко, иначе потеряешь свободу на всю жизнь, как твои мамуля и папуля.

³ Истина в вине (лат.).

Сын встал и ушел, храня молчание, и я его не виню. Представление получилось очень уж вульгарным, даже для Арлетт. На его глазах произошла разительная перемена: из матери, женщины своенравной, но любимой, она превратилась в содержательницу борделя, дающую советы зеленому клиенту-сосунку. В этом не было ничего хорошего, а поскольку он питал к Шеннон Коттери нежные чувства, сцена только усугубила ситуацию. Юноши возносят свою первую любовь на пьедестал, а если кто-то походя плюет на идеал... пусть даже собственная мать...

Я услышал, как хлопнула дверь, и вроде бы до моих ушей донеслись рыдания.

– Ты оскорбила его в лучших чувствах, – заметил я.

Она высказалась в том смысле, что *чувства*, как и *справедливость*, – последнее прибежище слабаков. Потом протянула стакан. Я наполнил его, зная, что утром она не вспомнит ничего из сказанного сегодня (при условии, что сможет встретить следующее утро) и будет все отрицать, причем яростно, если я попытаюсь ее просветить на этот счет. Я уже видел ее в таком состоянии, но это было давно.

Мы добили вторую бутылку (точнее, она) и половину третьей, прежде чем ее подбородок упал на залитую вином грудь, и она захрапела. Храп звучал, как рычание злобного пса.

Я обнял ее за плечи, руку сунул под мышку и поднял на ноги. Она сонно запротестовала, шлепнув меня липкой от вина рукой:

– Оставь меня в покое. Хочу спать.

– Ты и будешь спать, – ответил я. – Только в кровати, а не на крыльце.

Я провел ее – спотыкающуюся и всхрапывающую, причем один глаз был закрыт, а второй замутнен – через гостиную. Генри стоял на пороге своей комнаты – его лицо казалось бесстрастным и более взрослым, чем когда бы то ни было. Он кивнул мне. Одно движение головы – но оно сказало мне все, что я хотел знать.

Я уложил Арлетт на кровать, снял туфли и оставил храпеть. Ноги ее были раскинуты, рука свесилась вниз. Вернувшись в гостиную, я увидел, что Генри стоит у радиоприемника, который Арлетт уговорила меня купить годом раньше.

– Не должна она говорить такое про Шеннон, – прошептал он.

– Но она скажет это еще не раз, – ответил я. – Такая уж она, такой ее сотворил Господь.

– И она не может разлучить меня с Шеннон.

– Она и это сделает, если мы ей позволим.

– Не мог бы ты... папка, не мог бы ты найти себе адвоката?

– Ты думаешь, адвокат, услуги которого я смогу оплатить теми жалкими деньгами, которые лежат на моем банковском счете, устоит против адвокатов, выставленных «Фаррингтон компани»? Эта фирма пользуется в округе Хемингфорд немалым влиянием. А мне по силам только махать косой на поле. Им нужны эти сто акров, а Арлетт хочет их продать. Есть только один способ, но ты должен мне помочь. Поможешь?

Генри долго молчал. Он наклонил голову, и я увидел слезы, полившие из его глаз на вязанный крючком ковер. Потом он прошептал:

– Да. Но если мне придется смотреть... я не уверен, что...

– Я сделаю так, чтобы ты помогал, но не смотрел. Пойди в сарай и принеси джутовый мешок.

Он пошел и принес. Я же взял на кухне самый острый нож для разделки мяса. Когда сын вернулся и увидел нож, его лицо побледнело.

– Это обязательно? Не можешь ты... подушкой?..

– Слишком медленно и болезненно, – ответил я. – Она будет сопротивляться. – Он принял мои слова на веру, словно я обладал опытом, убив до жены с десятков женщин. Но я никого не убивал. Мог сказать только одно: во всех моих не очень-то определенных планах – точнее,

грезам – по избавлению от Арлетт я всегда видел себя с ножом, который сейчас держал в руке. Так что именно этому ножу предстояло стать орудием убийства. Нож – или ничего.

Мы стояли в свете керосиновой лампы – электричество, если не считать генераторов, появилось в Хемингфорд-Хоуме только в 1928 году – и смотрели друг на друга. Нас окружала тишина ночи, особенно глубокая в кукурузных полях, нарушаемая лишь малоприятным храпом Арлетт. Но при этом в комнате присутствовало нечто еще – неотвратимая воля, которая словно существовала отдельно от этой женщины (уже тогда я подумал, что почти физически ощущаю рядом ее; восемью годами позже я в этом уверен). Если хотите, это некий призрак, но призрак, который находился в доме еще до того, как умерла женщина, которая им стала.

– Хорошо, папка. Мы... мы отправим ее в рай. – При этой мысли лицо Генри прояснилось.

И каким же отвратительным теперь мне все это представляется, особенно когда я думаю, как он закончил свой путь на этой земле.

– Все произойдет быстро, – пообещал я. И подростком, и взрослым мне приходилось перерезать горло десяткам свиней, и я рассчитывал, что все так и будет. Ошибся.

Давайте я все расскажу по-быстрому. Ночами, когда я не могу спать, – а их много, – в голове у меня все проигрывается снова и снова: каждый удар, стон, каждая капля крови, все как в замедленной съемке. Поэтому давайте я все расскажу по-быстрому.

Мы направились в спальню, я – первым, с мясницким ножом в руке, мой сын – следом, с джутовым мешком. Вошли на цыпочках, но могли бы бить в барабаны – все равно не разбудили бы ее. Я взмахом руки велел Генри встать справа от меня, у ее головы. Теперь мы слышали не только храп, но и тиканье будильника «Биг-Бен» на прикроватной тумбочке, и мне в голову пришла странная мысль: мы – врачи у смертного одра важной пациентки. Но я все-таки думаю, что врачи у смертного одра не дрожат от чувства вины и страха.

Пожалуйста, не надо много крови, подумал я. Пусть она вся останется в мешке. И будет лучше, если он сейчас скажет, что не хочет этого, в последнюю минуту.

Но он не сказал. Возможно, решил, что я возненавижу его за это; может, мысленно уже отправил ее на Небеса; может, помнил бесстыдный средний палец, берущий в круг его промежность. Не знаю. Знаю только, что он прошептал: «Прощай, мама», – и надел мешок ей на голову.

Она всхрипнула и попыталась стянуть мешок с головы. Я собирался сунуть нож в мешок и там уже сделать все, но Генри приходилось плотно прижимать мешок к голове, чтобы она из него не выскользнула, так что реализовать задуманное не получалось. Я увидел ее нос, натягивающий мешковину, он был как акулий плавник. Я увидел панику на лице сына и понял, что он вот-вот убежит со всех ног.

Тогда я оперся коленом о кровать, а рукой ухватил ее за плечо. Полоснул через мешковину по шее под ней. Арлетт закричала и стала вырываться еще яростнее. Кровь полилась через разрез в мешке. Руки жены поднялись и принялись лупить воздух. Генри с пронзительным воплем отскочил от кровати. Я пытался удержать Арлетт, а она уже стягивала мешок с головы обеими руками. И тут я полоснул по одной, разрезав три пальца до кости. Она закричала вновь, тонко и пронзительно, крик вонзился в уши, как острая сосулька. Рука упала на покрывало. Я пробил еще одну дыру в мешковине, и еще, и еще. Нанес пять ударов, прежде чем она оттолкнула меня неповрежденной рукой и стянула джутовый мешок с лица. Совсем снять его она не смогла – он зацепился за волосы и теперь напоминал сеточку, которую надевают, ложась в кровать, чтобы не испортить прическу.

Следующими двумя ударами я разрезал ей шею, первый из них оказался достаточно глубоким, чтобы показалась трахея. Последние два пришлись в щеку и рот, и теперь она улыбалась, как клоун, до самых ушей, и в разрезе виднелись зубы. Из горла вырвался сдавленный

рев, такой звук мог издать лев перед тем, как наброситься на жертву. Кровь выплеснулась из шеи и долетела до изножья кровати. Я тогда еще подумал, что она как вино в стакане, подсвеченное закатным солнцем.

Арлетт попыталась подняться с кровати. Сначала я застыл, как оглушенный, потом меня охватила дикая ярость. С первого дня нашей семейной жизни она доставляла мне одни проблемы и не изменила себе даже теперь, при нашем кровавом разводе. А чего еще я мог от нее ожидать?

– Ох, папка, *останови ее!* – взвизгнул Генри. – *Останови ее, папка, ради Бога, останови!*

Я прыгнул на нее, как страстный любовник, и завалил назад, на пропитанную кровью подушку. Новые хрипы вырывались из ее порезанной шеи. Вытаращенные глаза вращались, из них бежали слезы. Я запустил руку в ее волосы, дернул голову назад и вновь полоснул ножом по шее. Затем сдернул покрывало с моей половины кровати и набросил ей на голову, поймав все, кроме первого выброса из яремной вены. Кровь брызнула мне в лицо, горячая кровь, которая заструилась с моего подбородка, носа и бровей.

Крики Генри за моей спиной прекратились. Обернувшись, я увидел, что Господь пожалел его (при условии, что Он не отвернул лицо, когда увидел, чем мы занимаемся): мальчик лишился чувств. Арлетт вырывалась уже не так активно. Наконец затихла... но я по-прежнему лежал на ней, прижимая покрывало, которое уже пропиталось ее кровью. Я напомнил себе, что она ни в чем и никогда не облегчала мне жизнь. И снова оказался прав. Через тридцать секунд (их отсчитали часы в жестяном корпусе, заказанные по каталогу и полученные по почте) она так резко и высоко изогнула спину, что едва не сбросила меня с кровати. *Давай, ковбой, объезжай,* подумал я. А может, произнес вслух. Этого я не помню, да поможет мне Бог. Все остальное помню, но не это.

Она вновь затихла. Я отсчитал тридцать жестяных тиков – и тридцать еще, для гарантии. На полу зашевелился и застонал Генри. Попытался сесть, потом передумал. Отполз в дальний угол комнаты и там свернулся в клубок.

– Генри! – позвал я.

Клубок в углу не отреагировал.

– Генри, она мертва. Она мертва, и мне нужна помощь.

Никакого ответа.

– Генри, поворачивать назад слишком поздно. Дело сделано. Если не хочешь сесть в тюрьму сам и отправить на электрический стул отца, поднимайся и помогай мне.

Он припелся к кровати. Волосы падали на глаза, блестящие сквозь слипшиеся от пота пряди, будто глаза зверька, прячущегося в кустах. Он то и дело облизывал губы.

– Не наступай туда, где кровь. Нам и так придется здесь все отчищать, работы будет больше, чем я ожидал, но мы справимся. Если только не разнесем кровь по всему дому.

– Я должен смотреть на нее? Папка, я должен *смотреть?*

– Нет. Никто из нас не должен.

Мы закатали ее в покрывало, превратив его в саван. Как только покончили с этим, я понял, что в таком виде нам ее из дома не вынести. В моих неопределенных планах и грезах я видел только небольшое кровавое пятно, проступающее на покрывале над ее перерезанной шеей (ее *аккуратно* перерезанной шеей). Я не предполагал, не представлял себе жуткую реальность: белое покрывало казалось черно-лиловым в темной комнате, и кровь стекала с него, как с вынутой из ванны губки течет вода.

В стенном шкафу лежало стеганое одеяло. В голове мелькнула мысль – я не смог подавить ее, – а что бы сказала моя мать, если бы увидела, как я использую с любовью сшитый подарок на свадьбу? Я расстелил одеяло на полу. Мы сбросили на него Арлетт. Потом закатали ее в одеяло.

– Быстро, – велел я, – пока оно не намокло. Нет... подожди... сходи за лампой.

Генри отсутствовал так долго, что я испугался, а не сбежал ли он. Потом увидел свет в маленьком коридорчике между его спальней и этой, которую я делил с Арлетт. *Раньше* делил. Я видел слезы, бежавшие по его восково-бледному лицу.

– Поставь на комод.

Он поставил лампу рядом с книгой, которую я читал, романом «Главная улица» Синклера Льюиса. Я его так и не дочитал. Не смог заставить себя дочитать. При свете лампы я увидел брызги крови на полу и лужицу у самой кровати.

Еще больше натечет из одеяла. Я вздохнул. Если бы знал, что в ней столько крови...

Я снял наволочку со своей подушки и натянул на конец свернутого одеяла, словно носок на кровоточащую голень.

– Бери ее ноги, – распорядился я. – Это мы должны сделать прямо сейчас. И не падай в обморок, Генри, потому что одному мне не справиться.

– Лучше бы это был сон. – Он наклонился и взялся за противоположный конец одеяла. – Это может быть сон, папка?

– Через год, когда все останется позади, мы так и будем об этом думать. – В глубине души я действительно в это верил. – А теперь – быстро. Надо успеть, пока с наволочки не начнет капать кровь. Или с одеяла.

Мы пронесли ее по коридору, через гостиную, на крыльцо, миновав парадную дверь, совсем как грузчики, выносящие мебель в чехлах. Как только спустились с крыльца на землю, дышать мне стало чуть легче: во дворе затереть кровь куда проще.

Генри держался, пока мы не обогнули угол амбара и не показался старый колодец. Его огораживали деревянные стойки, чтобы никто случайно не наступил на крышку, которая его закрывала. Стойки эти в звездном свете выглядели мрачными и ужасными, и, увидев их, Генри издал сдавленный крик.

– Это не могила для мамы... ма... – Ничего больше он произнести не успел – потеряв сознание, повалился на куст, росший за амбаром. Так что убитую жену мне пришлось держать одному. Я хотел было положить этот громадный куль на землю – все равно он уже начал разворачиваться и из него появилась порезанная ножом рука – и попытаться привести сына в чувство. Потом решил проявить милосердие и оставить его лежать. Подтащил Арлетт к колодцу, опустил на землю, снял деревянную крышку. Привалился к двум стойкам, переводя дыхание, и тут колодец дыхнул мне в лицо – вонью стоячей воды и гниющей травы. Я вступил в борьбу с рвотным рефлексом – и проиграл. Держась руками за стойки, согнулся пополам, чтобы выbleвать ужин и выпитое вино. Всплеск эхом отразился от стенок, когда блевотина плюхнулась в мутную воду на дне. Всплеск этот, как и фраза «*Давай, ковбой, объезжай*», не уходил из моей памяти все восемь последних лет. Я просыпался глубокой ночью, слышал эхо этого всплеска и чувствовал, как занозы впиваются в мои руки, сжимающие стойки с такой силой, будто от этого зависела моя жизнь.

Я попятился от колодца, споткнулся о куль, в котором лежала Арлетт. Упал. Ее порезанная рука оказалась в считанных дюймах от моих глаз. Генри все лежал под кустом, под головой – рука. Он выглядел, как ребенок, уснувший после утомительного дня во время жатвы. Над нами светили тысячи, десятки тысяч звезд. Я видел созвездия – Орион, Кассиопею, Большую Медведицу, – их когда-то показывал мне отец. Вдалеке один раз гавкнул пес Коттери, Рекс, и затих. Помнится, я еще подумал: *Эта ночь никогда не закончится.* И ведь правильно подумал. По большому счету, она так и не закончилась.

Я подхватил куль, и он дернулся.

Я замер, не в силах даже вдохнуть, только сердце колотилось как бешеное. *Конечно же, я не мог такого почувствовать*, подумал я. Подождал – а вдруг куль дернется снова? А может, ждал, как ее рука змеей выползет из стеганого одеяла и попытается схватить меня за запястье порезанными пальцами.

Никто не дернулся, ничто не выползло. Мне это все почудилось. Понятное дело. И я сбросил ее в колодец. Увидел, как стеганое одеяло развернулось с конца, на который я не надевал наволочку, а потом раздался всплеск. Гораздо более громкий, чем при моей блевотине, а за ним последовал хлюпающий *удар*. Я знал, что воды в колодце немного, но надеялся, что Арлетт погрузится с головой. Звук удара подсказал мне: в этом я ошибся.

Пронзительный смех раздался у меня за спиной – звук, так близко граничащий с безумием, что у меня по спине побежали мурашки, от поясицы до загривка. Генри пришел в себя и поднялся. Нет, более того – он прыгал перед амбаром, вскидывая руки к звездному небу, и хохотал.

– Мама в колодце, а мне все равно! – нараспев прокричал он. – Мама в колодце, а мне все равно, потому что хозяина нет⁴.

Я в три больших шага подскочил к нему и влепил оплеуху, оставив кровавые отметины на покрытой пушком щеке, еще не знавшей бритвы.

– Заткнись! Голос разносится далеко! Тебя могут услышать... Видишь, дурак, ты опять потревожил этого чертова пса.

Рекс гавкнул один раз, второй, третий. Замолчал. Мы стояли, я держал Генри за плечи, склонив голову, прислушиваясь. Струйки пота бежали по шее. Рекс пролаял еще раз, потом затих. Если бы кто-то из Коттери проснулся, они бы подумали, что Рекс нашел енота. Я, во всяком случае, на это надеялся.

– Иди в дом, – велел я. – Худшее позади.

– Правда, папка? – Он очень серьезно смотрел на меня. – Правда?

– Да. Как ты? Не собираешься снова грохнуться в обморок?

– А я грохался?

– Да.

– Я в порядке. Просто... не знаю, почему так смеялся. Что-то смешалось в голове. Наверное, я просто обрадовался. Все закончилось! – Смешок вновь сорвался с его губ, и он хлопнул по губам руками, как маленький мальчик, случайно произнесший плохое слово в присутствии бабушки.

– Да, – кивнул я. – Все закончилось. Мы останемся здесь. Твоя мать убежала в Сент-Луис... а может, в Чикаго... но мы останемся здесь.

– Она?.. – Его взгляд устремился к колодцу, крышка которого прислонялась к трем стойкам, казавшимся такими мрачными в звездном свете.

– Да, Хэнк, сбежала. – Его мать терпеть не могла, когда я называл его Хэнком, говорила, что это вульгарно, но теперь она ничего не могла с этим поделать. – Убежала и оставила нас здесь. И разумеется, мы очень сожалеем, но при этом полевые работы не могут ждать. И занятия в школе тоже.

– И я могу... по-прежнему дружить с Шеннон?

– Разумеется, – ответил я и снова вспомнил, как средний палец Арлетт похотливо обводит его промежность. – Разумеется, можешь. Но если у тебя вдруг возникнет желание признать Шеннон...

На лице Генри отразился ужас.

– *Никогда!*

– Что ж, я рад. Но если такое желание все-таки возникнет, запомни: она убежит от тебя.

– Разумеется, убежит, – пробормотал он.

– А теперь иди в дом и достань из кладовой все ведра для мытья полов. Наполни из колонки на кухне и добавь порошка, который она держит под раковиной.

⁴ Генри перефразирует припев песни североамериканских рабов «Джимми ломает кукурузу» (1840 г.), ставшей популярной среди детей: «Джимми ломает кукурузу, а мне все равно: хозяина нет».

– Воду мне подогреть?

Я услышал голос матери: *Кровь замыывают холодной водой, Уилф. Запомни это.*

– Незачем, – ответил я. – Я приду, как только поставлю крышку на место.

Он начал поворачиваться, потом вдруг схватил меня за руку. Холодными, просто ледяными пальцами.

– Никто не должен узнать! – хрипло прошептал он мне в лицо. – Никто не должен узнать о том, что мы сделали!

– Никто и не узнает. – В моем голосе уверенности было куда больше, чем в душе. Многое сразу пошло наперекосяк, и я начал понимать, что наяву все далеко не так, как в грезах.

– Она не вернется, правда?

– *Что?*

– Ее призрак не будет донимать нас, а? – Только слово это он произнес на деревенский манер и прозвучало оно как «добивать». Арлетт в таких случаях качала головой и закатывала глаза, и только теперь, восемь лет спустя, я начал осознавать, что, возможно, сын сказал так не случайно⁵.

– Нет, – ответил я.

И ошибся.

Я посмотрел в колодец и, хотя глубина составляла всего двадцать футов, увидел лишь светлое пятно лоскутного одеяла, поскольку луны не было. А может, это была наволочка. Я опустил крышку на место и направился к дому, стараясь следовать тем маршрутом, по которому мы тащили куль, намеренно почти не отрывая ноги от земли, чтобы затереть следы крови. Утром я довел это дело до конца.

В ту ночь я узнал нечто такое, что для большинства людей остается неведомым: убийство – это грех, убийство – это осуждение души на вечные муки (и уж точно рассудка и духа, даже если атеисты правы и никакой жизни после жизни нет), но убийство еще и работа. Мы оттирали спальню до боли в спине, потом перебрались в коридор, в гостиную и, наконец, на крыльцо. Всякий раз, когда мы думали, что работа закончена, один из нас находил очередное пятнышко. Когда заря осветила небо на востоке, Генри на коленях оттирал щели между половицами в спальне, а я, тоже на коленях, осматривал каждый дюйм вязанного крючком ковра Арлетт в гостиной в поисках одной-единственной капли крови, которая могла стать для нас роковой. Не нашел ни одной – в этом нам повезло, зато обнаружил пятно размером с десятицентовик рядом с ковром. Выглядело оно будто кровь, капнувшая из бритвенного пореза. Я отчистил это пятно, потом вернулся в спальню, чтобы посмотреть, как идут дела у Генри. Он вроде бы чуть взбодрился, да и я тоже. Думаю, сказался приход дня, который, похоже, развеял самые жуткие наши кошмары. Но когда Джордж, наш петух, громко сообщил, что проснулся, Генри подпрыгнул. Потом рассмеялся, очень коротко и как-то не совсем нормально, но он не напугал меня до такой степени, как ночью, когда пришел в себя неподалеку от старого колодца.

– Сегодня я в школу идти не могу, папка. Слишком устал. И... наверное, люди могут все увидеть на моем лице. Особенно Шеннон.

Я даже не подумал о школе – еще одно доказательство того, что подготовка моих планов оставляла желать лучшего. Дерьмо, а не планы. Мне следовало дожидаться, пока школьников распустят на летние каникулы. Оставалась-то одна неделя.

– Ты можешь побыть дома до понедельника. А потом скажешь учительнице, что заболел гриппом и не хотел заразить весь класс.

– Это не грипп, но я *болен*.

⁵ У автора игра слов. Генри произносит слово «haunt» – преследовать, донимать (*англ.*). Звучит же оно у него как «haint», что напоминает слово «hate» – ненавидеть (*англ.*).

То же самое я мог сказать и про себя.

Мы расстелили чистую простыню из ее стенного шкафа (так много вещей в доме принадлежали ей... но теперь уже нет) и сложили на ней окровавленное постельное белье. Матрас тоже запачкала кровь, его следовало сменить. Другой у нас был, не такой, правда, хороший. Он лежал в дальнем сарае. Я связал грязное постельное белье в узел, а Генри нес матрас. Мы вернулись к колодцу аккуратно перед тем, как солнце поднялось над горизонтом. Над нами раскинулось чистое, без единого облачка небо. Начинался хороший для кукурузы день.

– Я не смогу туда заглянуть, папка.

– Тебе и не надо, – сказал я и вновь поднял деревянную крышку. Подумал, что лучше бы оставил ее поднятой. *Работай головой, чтобы не делать лишней работы руками*, обычно говорил мой отец. Но я знал, что не смог бы так поступить. Особенно после того, как куль дернулся у меня в руках.

Теперь я увидел дно колодца и ужаснулся. Она приземлилась, оказавшись в положении сидя, ноги были вытянуты вперед. Наволочка разорвалась и лежала у нее на коленях. Стеганое одеяло и покрывало размотались и охватывали ее плечи, как изысканный дамский палантин. Джutowый мешок, превратившийся в сеточку для волос, дополнял картину: она словно приоделась, чтобы провести вечер в городе.

Да! Вечер в городе! Вот почему я так счастлива! Вот почему улыбаюсь во весь рот, от уха до уха! А ты обратил внимание, какая красная у меня помада, Уилф? Я никогда не пошла бы с такой помадой в церковь. Нет, и это не та помада, которой женщина красит губы, когда хочет сделать кое-что непристойное со своим мужчиной. Спускайся, Уилф, чего ты ждешь? И лестница тебе не нужна, просто прыгни! Покажи мне, как сильно ты меня хочешь! Ты поступил по отношению ко мне непристойно, а теперь позволь мне последовать твоему примеру.

– Папка! – Генри стоял лицом к амбару, ссутулившись, словно ожидал, что его сейчас высекут. – Все в порядке?

– Да. – Я бросил вниз узел с постельным бельем, надеясь, что он упадет на нее и закроет ее обращенную вверх жуткую ухмылку, но почему-то узел приземлился ей на колени. И теперь создавалось впечатление, что она сидит в странном, запятнанном кровью облаке.

– Она накрыта? Она накрыта, папка?

Я схватил матрас и отправил его следом. Один конец матраса ушел в мутную воду, другой проскользнул вдоль цилиндрической, выложенной камнем стены, прикрыв Арлетт, как навесом, и наконец-то спрятав ее вскинутую голову и кровавую ухмылку.

– Теперь да. – Я вернул на место деревянную крышку, зная, что впереди еще одно большое дело: наполнить колодец. Давно следовало засыпать его. Пустой колодец представлял собой опасность, вот почему я и огородил его стойками.

– Пошли в дом, позавтракаем.

– Я не смогу проглотить ни единого куска.

Но он проглотил. И я тоже. Я поджарил яйца, бекон и картошку, и мы съели все. Тяжелая работа разжигает аппетит. Это все знают.

Генри проспал чуть ли не до вечера. Часть этого времени я провел за кухонным столом, чашку за чашкой поглощая черный кофе. А еще погулял посреди кукурузы. Проходил от начала до конца ряд за рядом, прислушиваясь к шелесту под ветерком похожих на мечи листьев. В июне, когда кукуруза идет в рост, кажется, что побеги ведут между собой беседу. Это тревожит некоторых людей (и среди них есть глупцы, которые утверждают, будто эти звуки сопровождают рост кукурузы), но меня шелест листьев всегда успокаивал. Способствовал ясности мышления. И сейчас, когда я сижу в номере городского отеля, мне его недостает. Городская жизнь – не жизнь для сельчанина. Для него это все равно что жизнь в аду.

Признание, как выяснилось, – тоже тяжелая работа.

И вот я шагал, слушал кукурузу, пытался планировать будущее и в конце концов *спланировал*. Пришлось, и не только для себя.

Каких-то двадцать лет назад мужчина, оказавшийся в таком же положении, как я, мог не волноваться. Тогда никто не совал нос в чужие дела, особенно если речь шла об уважаемом фермере, человеке, который платил налоги, по воскресеньям ходил в церковь, болел за бейсбольную команду «Звезды Хемингфорда» и голосовал за республиканцев. Я думаю, тогда много чего случалось на фермах, расположенных в глубинке. Об этом не судачили и, уж конечно, не сообщали в полицию. Тогда мужчина поступал с женой так, как считал нужным, и если она исчезала, ее забывали.

Но те дни ушли, и даже если бы ничего с тех пор не изменилось... оставалась земля. Сто акров. «Фаррингтон компани» хотела заполучить эти акры для своей чертовой свиной фермы, и Арлетт заверила ее представителей, что эту землю они получают. Это таило в себе опасность, а опасность указывала на то, что одних грез и неопределенных планов теперь недостаточно.

Домой я вернулся во второй половине дня, уставший, но с ясной головой. Я наконец-то успокоился. Несколько наших коров ревели, поскольку час утренней дойки давно прошел. Я их подоил, а потом отправил на пастбище, где оставил до заката, вместо того чтобы загнать на вторую дойку сразу после ужина. Они не возражали; коровы все принимают как есть. Будь Арлетт такой же, подумал я, осталась бы жива и сейчас доставала бы меня покупкой стиральной машины по каталогу «Монки Вард». И я, наверное, купил бы ее. Умела она меня уговорить. Во всем, кроме земли. И ей следовало об этом знать. Земля – это мужская забота.

Генри еще спал. В последующие недели он вообще спал много, и я ему разрешал, хотя в другое время заполнил бы его дни работой, раз уж занятия в школе закончились. А вечера он заполнял бы сам – визитами к Коттери или прогулками по проселочной дороге с Шеннон. Они держались бы за руки и наблюдали за восходом луны между поцелуями. Я надеялся, что содеянное нами не испортит ему подобные сладостные мгновения, но все же понимал, что испортит. И не ошибся в этом.

Я отогнал назойливые мысли, говоря себе, что сейчас он спит, и это хорошо. Мне предстояло еще раз прогуляться к колодцу, и я хотел проделать это в одиночку. Наша семейная кровать, с которой содрали постельное белье, казалось, кричала об убийстве. Я подошел к стенному шкафу и принялся осматривать одежду Арлетт. У женщин всегда так много всего. Юбки, и платья, и блузки, и свитера, и нижнее белье. Среди последнего попадает кое-что такое сложное и странное, что мужчине и не понять, где перед. Я знал: взять все – это ошибка, поскольку грузовик по-прежнему стоял в амбаре, а «Модель Т» – под вязом. Она ушла пешком, то есть взяла с собой только то, что смогла унести. Почему не уехала на «Т»? Потому что я мог услышать, как завелся двигатель, и остановил бы ее. Звучало правдоподобно. Следовательно... один чемодан.

Я набил его вещами, как мне представлялось, необходимыми женщине, без которых уйти она не могла. Положил в чемодан несколько красивых украшений и фотографию ее родителей в золотой рамке. Посмотрел на ее туалетные принадлежности в ванной и оставил все, за исключением духов «Флориен» и щетки для волос. На ночном столике лежала Библия, которую дал Арлетт пастор Хокинс, но я ни разу не видел, чтобы она читала ее, поэтому трогать не стал. Зато взял пузырек с таблетками железа, которые она принимала при месячных.

Генри по-прежнему спал, но теперь метался по кровати, охваченный каким-то кошмаром. Я поспешил, чтобы быстрее все закончить и вернуться в дом до того, как он проснется. Подошел к колодцу. Поставил чемодан на землю, в третий раз поднял деревянную крышку. Слава Богу, Генри со мной не было. Слава Богу, он не увидел того, что увидел я. Думаю, это зрелище свело бы его с ума. Даже меня чуть не свело.

Матрас сполз в сторону. Прежде всего я подумал, что она откинула его, чтобы выбраться из колодца. Потому что она не умерла. Она дышала. Так мне поначалу показалось. А потом, когда здравый смысл начал пробиваться сквозь туман, окутавший разум, когда я спросил себя, какое дыхание может заставить женское платье подниматься и опускаться не на груди, а от талии и ниже... в этот самый момент челюсть ее зашевелилась, словно она пыталась заговорить. Но не слова возникли из сильно расширившегося рта, а крыса, которая лакомила ее нежным языком. Первым появился хвост. Потом нижняя челюсть Арлетт опустилась ниже, и когти задних лапок впились в подбородок в поисках опоры.

Крыса прыгнула к ней на колени. А когда она это сделала, из-под платья во множестве повылезали ее братья и сестры. У одной крысы в усах застряло что-то белое – клочок комбинации или, возможно, трусиков. Я швырнул в них чемодан. Не думал об этом – плохо сообщал от отвращения и ужаса, просто швырнул. Он упал ей на ноги. Большинство грызунов – вероятно, все – легко избежали удара. Нырнули в круглую черную дыру, которую раньше закрывал матрас (наверное, они сдвинули его общими усилиями), и исчезли в мгновение ока. Я хорошо знал, что это за дыра: вход в трубу, через которую вода подавалась в амбар, пока ее уровень не опустился слишком низко.

Платье застыло. Ложное дыхание оборвалось. Но она *смотрела* на меня, и это был пристальный взгляд горгоны. Я видел крысиные укусы на ее щеках, одна мочка исчезла.

– Господи, – прошептал я. – Арлетт, мне так жаль.

Твои сожаления не принимаются, казалось, говорил ее взгляд. И когда меня найдут в таком виде, с крысиными укусами и в изгрызенном нижнем белье, ты точно усядешься на электрический стул в Линкольне. И мое лицо станет последним, что ты увидишь перед смертью. Ты увидишь меня, когда электричество поджарит тебе печень и подожжет сердце, а я буду улыбаться.

Я опустил крышку и поплелся к амбару. Внезапно ноги отказались служить мне, и будь я на солнце – точно потерял бы сознание, как Генри прошлой ночью. Но я находился в тени, поэтому, посидев минут пять с опущенной головой, более или менее оклемался. Крысы добрались до нее – и что такого? Разве, в конце концов, крысы и жуки не добираются до всех нас? Рано или поздно самый крепкий гроб не выдерживает и выпускает жизнь, чтобы она покормилась на смерти. Так устроен мир, и какое это имеет значение? После того как сердце останавливается, а мозг задыхается, наши души или куда-то отправляются, или просто исчезают. В любом случае мы не чувствуем, как кто-то гложет нашу плоть или выедает что-то из костей.

Я двинулся к дому и уже добрался до ступенек, ведущих на крыльцо, когда новая мысль остановила меня: а что тогда дернулось? Вдруг она была еще жива, парализованная, неспособная шевельнуть даже разрезанным пальцем, когда крысы вылезли из трубы и принялись ее пожирать? Что, если она почувствовала, как одна пробралась в ее располосованный рот и начала...

– Нет, – прошептал я. – Она ничего не почувствовала, потому что не дергалась. Никогда. Вниз я сбросил ее мертвой.

– Папка? – сонным голосом позвал Генри. – Пап, это ты?

– Да.

– С кем ты говоришь?

– Ни с кем. Сам с собой.

Я вошел. В майке и трусах он сидел за кухонным столом и выглядел ошеломленным и несчастным. Волосы торчали во все стороны, напомнив мне время, когда сын, еще маленький, гонялся по двору за курами, а его верный пес Бу (к тому лету давно умерший) не отставал от него ни на шаг.

– Лучше бы мы этого не делали, – прошептал он, когда я сел напротив него.

– Сделанного не вернешь, – ответил я. – Сколько раз я тебе это говорил, парень?

– Пожалуй, миллион. – Он на какое-то мгновение опустил голову, потом вновь посмотрел на меня. Его глаза, окаймленные красным, налились кровью. – Нас поймают? Мы отправимся в тюрьму? Или...

– Нет. У меня есть план.

– У тебя был план не причинять ей боли! Посмотри, *что* из этого вышло!

Моей руке просто не терпелось отвесить ему за это пощечину, так что я придавил ее другой рукой. Не время сейчас для встречных обвинений. Кроме того, он говорил правду. Во всем, что пошло не так, вина лежала на мне. *За исключением крыс*, подумал я. *Крысы – не моя вина*. Нет, и они тоже. Разумеется, и они тоже. Если б не я, она сейчас стояла бы у плиты, готовила ужин. Вероятно, говорила бы и говорила об этих ста акрах, но живая и здоровая, а не лежала бы в колодеце.

Крысы, должно быть, уже вернулись, прошептал голос в глубинах моего сознания. *Едят ее. Скоро закончат лучшее, самое вкусное, деликатесы, а потом...*

Генри перегнулся через стол, чтобы коснуться моих сцепленных рук. Я вздрогнул.

– Извини. Мы вместе это сделали.

И я любил его за эти слова.

– Все будет хорошо, Хэнк; если мы не запаникуем, все будет хорошо. А теперь слушай меня.

Он слушал. В какой-то момент начал кивать. Когда я закончил, задал только один вопрос: «Когда мы засыпем колодец?»

– Не сейчас.

– Разве это не рискованно?

– Есть такое, – согласился я.

Двумя днями позже я чинил изгородь в четверти мили от фермы, когда увидел большое облако пыли, движущееся по нашей дороге от шоссе Омаха – Линкольн. На нашу территорию вторгся мир, частью которого Арлетт так хотелось стать. Я направился к дому, сунув молоток в петлю на поясе, в плотницком фартуке, в кармане которого позвякивали гвозди. Генри ничего не увидел. Возможно, он побежал на речку купаться. А может, спал в своей комнате.

Во дворе я сел на колоду для колки дров, и тут же из кукурузы выехал автомобиль, поднимавший за собой беличий хвост пыли: грузовичок «Красная крошка» Ларса Олсена, кузнеца и молочника из Хемингфорд-Хоума. Иногда он подрабатывал и шофером, и именно в этом качестве прибыл на мою ферму в тот июньский день. Грузовичок въехал во двор, обратив в бегство Джорджа, нашего вспыльчивого петуха, и его маленький гарем. Мотор еще не успел заглухнуть, когда из кабины с пассажирской стороны вылез пузатый мужчина в сером пыльнике. Он снял очки, открыв большие (и смешные) белые круги у глаз.

– Уилфред Джеймс?

– К вашим услугам. – Я встал, чувствуя себя совершенно спокойно. Возможно, спокойствия у меня поубавилось бы, если бы подъехал принадлежащий округу «форд» со звездой шерифа на бортах.

– Эндрю Лестер, – представился он. – Адвокат.

Он протянул руку. Я на нее посмотрел.

– Прежде чем я ее пожму, вам лучше сказать, чей вы адвокат, мистер Лестер.

– В настоящее время я представляю «Фаррингтон лайвсток компани» с отделениями в Чикаго, Омахе и Де-Мойне.

Да, подумал я, кто бы сомневался. Но я готов спорить, что на двери таблички с твоей фамилией нет. Большие люди из Омахи не глотают деревенскую пыль, чтобы заработать на хлеб, правда? Большие люди сидят, положив ноги на стол. Пьют кофе и любят красивые лодыжками секретари.

– В этом случае, сэр, почему бы вам просто не изложить цель вашего приезда и не убрать руку? Только не обижайтесь.

Он так и поступил, с адвокатской улыбкой. Пот проложил светлые дорожки по его пухлым щекам, а ветер спутал и взъерошил волосы. Я прошел мимо него к Ларсу, который открыл боковину двигателя отсека и возился с мотором. Он что-то насвистывал и выглядел таким же счастливым, как и сидевшая на проводе птичка. В этом я ему завидовал. Подумал, что нам с Генри тоже может выпасть счастливый день, – в таком переменчивом мире, как наш, возможно всякое, – но не летом 1922 года. И не осенью.

Я пожал Ларсу руку, спросил, как самочувствие.

– Все в норме, но в горле пересохло. Я бы чего-нибудь выпил.

Я указал на восточную стену дома:

– Ты знаешь, где взять.

– Знаю. – Он захлопнул боковину с громким треском, от которого куры, вернувшиеся во двор, вновь бросились врассыпную. – Сладкая и холодная, как и всегда?

– Скорее да, чем нет, – согласился я и подумал: *Но если бы ты попробовал набрать воды из другого колодца, не думаю, что тебя волновал бы вкус.* – Попробуй – и увидишь.

Он направился к дому, обходя его с той стороны, где под навесом стояла дворовая колонка. Мистер Лестер проводил его взглядом, потом повернулся ко мне, расстегнув плащ. Костюм его определенно нуждался в чистке по возвращении в Линкольн, Омаху, Диленд или какой-нибудь другой город, в котором он вешал шляпу, когда не занимался делами Коула Фаррингтона.

– Я бы сам не отказался от глотка воды, мистер Джеймс.

– Я тоже. Ремонтировать изгородь – потная работа. – Я оглядел его с головы до ног. – Но, наверное, не такая потная, как проехать двадцать миль в грузовике Ларса.

Он потер зад и улыбнулся адвокатской улыбкой. Но на этот раз в ней промелькнуло сожаление. Я уже видел, как его глазки бегают по сторонам. Не следовало недооценивать этого человека только потому, что ему приказали протрястись двадцать миль по сельским дорогам в жаркий летний день.

– Мой зад уже никогда не будет прежним.

На одной из стоек навеса на цепочке висела кружка. Ларс наполнил ее и выпил до дна, его кадык ходил вверх-вниз по жилистой, загорелой шее. Наполнил второй раз и предложил Лестеру, который посмотрел на кружку примерно так же, как я – на его протянутую руку.

– Может, мы попьем воды в доме, мистер Джеймс? Там чуть прохладнее.

– Прохладнее, – согласился я, – но желания приглашать вас в дом у меня не больше, чем пожимать вам руку.

Ларс Олсен уловил, куда дует ветер, и, не теряя времени, вернулся к грузовику. Но сначала отдал кружку Лестеру. Мой гость пил воду не огромными глотками, как сделал Ларс, а маленькими брезгливыми глоточками, другими словами – как адвокат... Но он не остановился, пока не осушил кружку до дна, тоже как адвокат. Хлопнула сетчатая дверь, и из дома вышел Генри, в комбинезоне, босиком. Окинул нас взглядом, абсолютно безразличным, – умный мальчик! – и пошел туда, куда и полагалось идти нормальному деревенскому подростку: посмотреть, как Ларс возится со своим грузовиком, и, если повезет, чему-то научиться.

Я сел на укрытые брезентом дрова, которые мы держали с этой стороны дома.

– Как я понимаю, вы здесь по делу. По делу моей жены.

– Да.

– Что ж, раз уж воду вы выпили, давайте сразу к нему и перейдем. У меня еще полно работы, а на часах три пополудни.

– От рассвета до заката. У фермеров жизнь трудная. – Он вздохнул, как будто знал.

– Да, и своенравная жена только добавляет трудностей. Вас прислала она, как я понимаю, только не знаю зачем. Если речь идет о каких-то официальных бумагах, так я думал, что их привезет помощник шерифа.

Он удивленно посмотрел на меня:

– Ваша жена не присылала меня, мистер Джеймс. Дело в том, что я приехал повидаться с ней.

Происходящее напоминало игру: теперь пришла моя очередь удивляться. Потом рассмеяться, потому что на сцене за удивленным взглядом обычно следует смех.

– Вот и доказательство.

– Доказательство чего?

– Мое детство прошло в Фордьюсе, и там у нас был сосед, отвратительный старикан по фамилии Брэдли. Все его звали Папаша Брэдли.

– Мистер Джеймс...

– Моему отцу приходилось время от времени иметь с ним дело, и иногда он брал меня с собой в те уже далекие дни. Речь обычно шла о семенах кукурузы, особенно весной, но иногда он с Брэдли обменивался инструментами. Тогда по каталогам ничего не покупалось, и хороший инструмент мог обойти весь округ, прежде чем возвращался домой.

– Мистер Джеймс, я не понимаю, какое...

– И всякий раз, когда мы ехали к этому старику, моя мама наказывала мне затыкать уши, поскольку каждое второе слово, слетавшее с губ Папаши Брэдли, было ругательством или намеком на что-то непристойное. – Мне все происходящее уже начало нравиться. – Поэтому, само собой, я, наоборот, слушал, причем очень даже внимательно. И запомнил одну из любимых присказок Папаши Брэдли: «Никогда не садись на кобылу без уздечки, потому что никто не знает, куда эта сука побежит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.